Romanoslavica vol. XLVI, nr. 4

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
К ВОПРОСУ О САМОПОЗНАНИИ И О ПОИСКАХ БОГА

Ливия КОТОРЧА

La fin de la vie de Tolstoï a secoué tout le monde, afin que, a notre avis, elle relève le mode de vivre le christianisme dans le XIXème siècle, et dans le siècle suivant. L'écrivain russe, par sa fuite et la mort sur la route, comme un „iurodivîi (fou en Christ), a choisi l'infini oubli de soi par l'unification avec Dieu. Notre travail poursuit ces moments qui ont influencé la pensée et l'œuvre de Tolstoï, de la réinterprétation de l'idéal chrétien, de l'affirmation du „moi" au nom de sa vérité, jusqu'à la conquête du „soi" profond qui suppose l'union avec les autres, avec la nature, avec Dieu. Pour parvenir à cette vérité, Tolstoï devait vaincre son „moi", connaître l'incroyable effroi provoqué par la mort, surmonter l'angoisse existentielle et, finalement, trouver la fusion avec les autres au nom de la vérité divine de l'égalité de tout et de tous. Tolstoï propose un existentialisme sui-generis, comme manière de vivre et non pas une méditation sur la vie humaine. Les préceptes chrétiens primaires, que l'écrivain russe invoque fréquemment en opposition avec les dogmes de l'Eglise, n'ont pas un autre sens que celui de la connaissance de soi-même par l'amour universel. L'homme doit vivre cet amour sur la terre et non pas l'attendre dans l'autre monde.

Mots-clés: Tolstoï, idéal chrétien, vérité divine, les dogmes de l'Eglise, l'amour universel

Ещё живое в начале двадцатого века, эхо «на глазах у всех» происшедшей смерти Л. Толстого, кажется, заглохло в наши дни, унеся с собой и что-то из великого смысла этого момента. Но мы считаем, что надо возвращаться к нему снова и снова, потому что этот момент не только завершил жизнь человека и писателя, но и синтезировал в себе все поиски, метания и вопросы, характерные для христианина. Ибо смерть старого графа, вопреки своей внешней «зрелищности», говорит нам о самом смысле человеческого существования и о модальности переживания христианства – не столько в столь шумно завершенном Толстым веке, сколько во временах грядущих, которые он – как и Достоевский, но по-иному – предвидел. И смысл, который, как нам кажется, раскрывает этот момент – это не просто возможность, но и необходимость понять, что истина Христова учения дается индивидуально, познанием самого себя и сущности своего живого существа, мерой приближения этой истины к идеалу. В этом контексте мы думаем, что своей жизнью – и особенно смертью – Лев Толстой воскресил мысль древних о том, что *недостаточно жить: нужно жить*

BDD-A24209 © 2010 Editura Universităţii din Bucureşti
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-31 00:00:30 UTC)

достойно, пытаясь согласовать классическое учение *познай самого себя* с заповедью христианства *будь совершенным, как Отец*. При этом не раз поднимался перед ним вопрос: не одно ли это и то же – *познать самого себя* и *познать Бога*?

На протяжении своей долгой жизни Толстой постоянно искал ответа на этот вопрос, и какие бы решения он ни предлагал на основе собственного опыта, проблема остаётся открытой, постоянно возвращая нас к его жизни и творчеству, ставя перед нами всё новые и новые вопросы, которые выходят за рамки не только жизни писателя и его творчества, но и за рамки самой литературы.

На некоторых из этих вопросов хочется остановиться в нашей работе.

С самого начала обращает на себя внимание тот факт, что, **во-первых,** русский романист видит решение проблемы слияния *познания самого себя* и *поисков Бога* в личном самоусовершенствовании, в сдвиге от общественно-исторических задач к проблеме личной морали и личного поведения. Во-вторых замечаем, что сама постановка этого вопроса располагается в сфере природы человека и природы художественного творчества, как раньше это было у Гоголя: писатель настаивает на оправдании их перед Богом и перед миром. В-третьих, эта проблема и сопровождающие её вопросы не являются для Толстого предметом **либо размышления либо** художественного творчества, а делом всей его жизни, и в первую очередь – прямой реакцией на открытие в ней противоречия между писательским словом и человеческим поведением и, в конечном счете, выражением горячего желания поднять в себе человека на уровень писателя. Итак, в самой постановке вопроса о познании самого себя в процессе поисков Бога у Толстого сказалась именно высокая христианская этика, которая должна была бороться не только со свободой, изначально свойственной творческой личности, но и с почти сверхъестественной жизненной силой писателя, в своем подчинении желанию усовершенствования постоянно направленной к самоотрицанию.

Первая попытка реализовать познание истины о себе и о Боге стоит под знаком рационального восприятия мира, которое внушает Толстому мысль, записанную в «Дневнике» за 1847 год: «Дойду ли я когда-нибудь до того, чтобы не зависеть ни от каких посторонних обстоятельств? По моему мнению, это есть огромное совершенство, ибо в человеке, который не зависит ни от какого постороннего влияния, дух необходимо по своей потребности превзойдет материю, и тогда человек достигнет своего назначения... »[1]

Нетрудно видеть, что молодой Толстой **надеется волевым актом, опираясь только на собственные силы, открыть самого себя и мир.** Похоже, что автор «Войны и мира» не предусматривает, что такой волевой акт – без

[1] См. Л.Н. Толстой,16 июня 1847г., *Собрание сочинений в двадцатитомах,* Изд. «Художественная литература», Москва,1965, т. девятнадцатый, *Дневники 1847-1894*, стр.40.

BDD-A24209 © 2010 Editura Universităţii din Bucureşti
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-31 00:00:30 UTC)

участия Бога – окажется титаническим, но бессильным не только перед жизнью, но и перед тем, что он назовёт потом «собой». Пока Толстой предлагает себе «быть чем есть: по способностям – литератор, по рождению аристократ»[1], думая, что может самоусовершенствоваться установлением пределов и запретов для себя – «принуждением», как сказано в его «дневнике» за 1850 год: «Помнить, что нужно принудить себя »[2].

Мы видим, что в начале пути самоусовершенствования создается парадоксальное положение такого восприятия себя и мира, в котором решающим оказывается как присутствие волевого и одинокого *Я*, так и действие ветхозаветного Бога с его сторогими законами. При этом как бы исключается или только предполагается, как возможность, значение христианского пути постепенного просветления вместе с другими и со всем миром. В согласии с этим становится возможным понимание совершенства как жизни в инстинктивном переживании красоты и любви, но и в уважении к свету классического разума.

И всё же Толстой, вместе со своими героями – Пьером Безуховым или Левиным –, чувствует, что таким путём реализуется скорее индивидуализм, чем персонализм, который завещан Христом как объязанность каждого стать совершенным согласно своей глубинной божественной природе, а не путем ее уничтожения.

В те же годы, как в дневнике, так и в художественном творчестве Толстого мы встречаем навязчивое ощущение некоего ***Нечто,*** **Или НИЧТО??,** которое постоянно выводит Я из общего прекрасного мира, наполняя его невиданным, нестерпимым ужасом. Вначале Толстой думает, что такое *Нечто*, изолирующее его от мира, есть его редкое **по силе** желание быть совершенным. Но постепенно он понимает, что отделение себя от мира собственной волей питается только гордостью, которая заставляет его уничтожающе соревноваться не только с общим знанием и сознанием, но и с глубинным *самим собой.* И как быть с*овершенным, как Отец*, отрицая ***Себя в Я?*** Толстой замечает, что вместо красоты и равновесия своими волевыми усилиями он добывает лишь отчаяние и всё большую гордость, которая требует опоры извне.

Такой образ познания и переживания себя и мира был отмечен исследователями писателя именно а связи с его отношением к христианству. Например, Чехов видит в Толстом – авторе «Воскресения», человека, охваченного ужасом перед смертью, который обманывает себя и других, опираясь на цитаты из Священного писания, в то время как более радикальный С. Цвейг считает, что русский писатель является «искусственным» христинином[3]. В свою очередь, не соглашаясь с мнениями многих авторов, что русский романист только „выпал из

[1] См. Л.Н. Толстой, *Полное собрание сочинений,* М.,1952, т.47, стр.53.
[2] 8 декабря 1850 г., *Собрание сочинений в двадцати томах,* т. девятнадцатый, стр.48.
[3] См. S. Zweig, *Tolstoi. Nietzsche,* Ed. Ştiinţifică. Bucureşti, 1966, стр.22.

BDD-A24209 © 2010 Editura Universităţii din Bucureşti
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-31 00:00:30 UTC)

христианства", Д. Мережковский утверждает, что он совершенно «*лишен* мистического *призвания*»[1] (выделено нами).

Но нам кажется, что проблема отношений между Толстым и христианством не сводима к его ужасу перед смертью или к невозможности реализовать полное христианское послушание. Эти, сложные уже с момента их зарождения, отношения весьма усложняются, когда уверенности молодых лет и начала зрелости, что возможно реализовать совершенство волей и собственными силами, начинает про**тивостоять** – вначале несмело, но потом всё сильней – открытие Толстым того факта, что человеку предстоит бороться не столько с собой и с внешним миром, сколько с тем великим *Ничто,* которое выявляет ему откровение Смерти. В откровении Смерти Толстой воспринимает себя как *Сознание* перед великим ***Ничто,*** которое он не умеет соотнести с христианским Богом. Эта невозможность заставляет его убегать от Себя к самому Себе, исследуя всевозможные значения и соотношения Себя и Бога.

С самого начала нужно сказать, во-первых, что всегда эти отношения обусловлены тем, что, не принимая славянофильские идеи, так живо высказавшие себя в русской культуре его времени, Толстой не отождествляет христианство с православием. Во-вторых, что эти отношения определены приятием им целиком евангельского учения „Будьте совершенны, как отец ваш небесный", но в его первоначальном, апостольском значении. В-третьих, что, согласно этому значению, русский писатель сочетает христианское учение с более или менее открыто выраженным желанием перенаправить его от догмата церкви „к жизни", воскресить первоначальное значение христианства как „нового понимания жизни" – идея, развитая в его трактате 1890-1893-го года „Царство божие внутри нас".

Не удивительно, что, со всеми этими уточнениями со стороны самого Толстого как писателя и мыслителя, парадоксальность продолжает ставить свою печать на его мышление и творчество и после 1880-го года. Заметим, что эта парадоксальность создана не столько толстовской манерой мышления и восприятия себя и трансцедентальности, сколько открытием им, и потом целым направлением экзистенциализма XX-го века, самой сущности христианства – в требовании от человека осуществления невозможного и нечеловеческого *в* и *через* человеческую жизнь.Теперь писателю – искателю себя и Бога – становится ясно, что совершенство завоевывается выходом из себя и отрицанием себя до потери собственного *Я*, слиянием с самим путём, который есть сын **Божий,** Христос. Это новое отношение между собой и Богом писатель связывает с безумием и абсурдом, с состоянием, которому он посвящает специально «Записки сумасшедшего» и о котором ясно говорят такие произведения последнего периода

[1] См. Д. Мережковский, *Толстой и Достоевский, Избранное,* «Художественная литература», Кишинёв, стр.520.

BDD-A24209 © 2010 Editura Universităţii din Bucureşti
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-31 00:00:30 UTC)

его творчества, как «Крейцерова соната», «Смерть Ивана Ильича», «Хозяин и работник» или «Окончание малороссийской легенды ***Сорок лет***, изданной Костомаровым в 1881г.». Идейным и творческим выражением этих новых смыслов в данных произведениях становятся бегство и жестокая борьба между двумя крайностями, которые есть «порывы духа» и «власть плоти». И направления толстовского бегства после 1880-го года оказываются разными: писатель убегает за пределы знакомого мира – социального, семейного, личного, психологического и, особенно, писательского. Главное же – что такое бегство может быть бегством от людей и от собственного *Я,* в контексте ситуации, о которой не раз говорят «Дневник», «Тайный дневник» (1908г.) и «Дневник для одного себя» (1910г.): «Толстой – это не Я» или «Чего я боюсь? – Ничего... Себя....»[1]

Ища самого себя таким путём, Толстой понимает, что его Я уже есть то «общее», против которого поднимается всё его существо, что между *Я* и ***Себя*** располагается целая пропасть, через которую никак невозможно перейти «принуждением». И пространство *Себя* кажется ему настолько чуждым и непохожим на пространство *Я,* что он считает первое **сферой** иррациональности и безумия. Направляясь к этому последнему пространству, писатель замечает своё положение «чужого» в мире и даже «враждебного» миру, положение, которое он переживает на этот раз не с гордостью романтика, а с экзистенциальным сознанием, что такая ситуция обязывает его к сизифовым усилиям. Данное сознание порождает у него настоящую «философия юродства», которая отмечается признанием как высшей истины ситуации *я существую для любви и в Боге* или *Бог есть во мне.* В таком контексте подчеркивания полюса, который существует вне Я, решающее значение приобретает чувство, что не *совершенство* должно интересовать человека, а *усовершенствование,* т.е. *постоянное пребывание* ***в пути.***

Мечась между крайностями плоти и духа почти с демонической горячностью, как доказывают его художественные, публицистические и просто человеческие жесты периода после 80-ых годов, Толстой и его герои доходят до идеи, что не надо принижать христианский идеал чистоты и любви до человеческой слабости и до ужаса – «красного, белого, квадратного»[2] – перед смертью. Точнее, им вменяется обязанность – для себя, и вообще для человека – обращаться ко всему этому смело и честно. И это не прежние смелость и честность, которые заставляли писателя принуждать себя стать совершенным и бороться с собой, а осознание и принятие той реальности, о которой говорится в «Послесловии» к «Крейцеровой сонате», что «человеку указывается идеал, по отношению к которому он всегда может видеть степень своего удаления от него

[1] См. Л.Н. Толстой, *Записки сумасшедшего, Собрание сочинений в двадцати томах*, т. двенадцатый, стр.52.
[2] Там же, стр.50.

BDD-A24209 © 2010 Editura Universităţii din Bucureşti
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-31 00:00:30 UTC)

(…) видя всегда впереди себя тот путь, по которому ещё надо идти и который он не прошел ещё»[1].

Тематизация новозаветных притч, заявление, после романа «Анна Каренина», нового отношения к слову и максимальное упрощение стиля и художественного дискурса – это только видимые аспекты приложения идеи честной и смелой встречи не только с возможностью, но и с невозможностью Христова учения. Яснейший же акт такой смелости и честности, с нашей точки зрения, есть – как и в случае Гоголя раньше – переживание Толстым, на глазах у всех, включая момент смерти на станции Астапово, своих метаний и поисков Бога в жизни и за гранью жизни, с предстоящей опасностью быть изгнанным именно из числа тех, кто исповедует веру в Христа. Нужно упомянуть, что эта вера рождается у него из пропасти отчаяния, откуда он взывает вопросом: „зачем, что я такое?”[2], но и говорит, что вечное блаженство состоит именно в страстной бесконечной личной заинтересованности живого человека в живом Боге.

Поэтому в последние десятилетия свой жизни великий романист выступает решительно против превращения евангельского откровения в понятую и даже полезную мораль или против необходимости и долженствования, к которым взывает церковь. Только таким образом сумасшествие, как вера против разума, сможет жить по ту сторону смерти, как нам внушает не только конец повестей «Смерть Ивана Ильича» (1884-1895) или «Хозяин и работник» (1892-1895), но и сама смерть Толстого. Эти смерти ставят под вопрос право и власть необходимости в мире и в человеческой жизни, но и доказывают, что дельфийский завет *познай самого себя* в отношении Я и мира требует добавления: *познай самого себя в отношении Я и Христианского Бога.* Это последнее познание говорит, что Бог есть моё самое глубинное Я, но и моя бесконечность, потому что «своё я» предполагает точку встречи человеческого Я и Бога. Из этой точки открывается и расширяется до бесконечности глубинность человеческого Я, которая проявляется одновременно в своей реальной, но и в своей тайной и метафизической сущности во время самой земной жизни. Эта правда выявляется как нельзя лучше в смерти Толстого и некоторых его героев, так что, оказывается, прав Василий Розанов, который написал об этом целую книгу, когда говорит: «о Толстом стоит думать и думать». Тем более следует делать это, что, как мы уже сказали в начале этой работы, наряду с Достоевским, автор «Анны Карениной» становится носителем религиозного кризиса прошлого и нашего века, выразителем безнадежных попыток разными путями воскресить религию любви во что бы то ни стало – именно ради нового открытия себя человеком и сохранения его жизни на земле.

---

[1] Л.Н. Толстой, *Послесловие к* «*Крейцеровой сонате*»*, Собрание сочинений в двадцати томах*, т. двенадцатый, стр.219.

[2] См. Толстой, *Записки сумасшедшего*, стр.53.

BDD-A24209 © 2010 Editura Universităţii din Bucureşti
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.75 (2026-10-31 00:00:30 UTC)